

## ИСКУССТВО КРОЙКИ И ЖИТЬЯ

Рассказ

В деревне перед началом учебного года у меня была на зиму студенческая куртка из какого-то старорежимного истершегоса драпа. В такой куртке можно было зимовать в Тбилиси, да и то с трудом, но калужская зима, которая в октябре уже напоминала о себе, с такой курткой расправилась бы легко — и это ощущалось. Что было делать молодому учителю? Хорошо тем, у которых родители, родственники, щедрые и сердечные. А у меня не было никого. Поэтому я набрал, где только смог, шестьсот рублей (по нынешним временам — шестьдесят) и отправился в Перемышль, наш районный центр. Мне повезло. В магазине продавались зимние пальто, и стоили они всего четыреста пятьдесят. Я взял пальто на размер больше, вернулся в деревню обладателем собственной зимней шубы, а оставшиеся сто пятьдесят рублей раздал кредиторам. Что же из себя представляло это пальто, эта шуба, это спасительное убранство? Конечно, в природе существовали наряды и получше. Я к ним, бывало, прикасался в трамваях и гардеробах, я ощущал их мягкие, теплые волны, их формы, подчеркивающие достоинства и скрывающие недостатки. Их благородные и разнообразные цвета ласкали глаз. Они были легки как пух и жарки, подобно раскаленной печке. Мое же пальто было совсем иным. Его материал тоже назывался драпом, но напоминал листовую фанеру, которую почти невозможно согнуть, и плохо обработанную, о которую можно было содрать кожу. Этот драп ткали вместе с соломой, веточками и отрубями, и, бывало, просиживая в каких-нибудь приемных или на вокзалах в ожидании поезда, я коротал время, выщипывая из него этот строительный материал и собирая его в горсть. Горсть по горсти. Кроме того, это пальто было подбито простеганной ватой, напоминая матрас. Изысканно распахнуть его было невозможно. Его можно было только раскрыть, да и то с трудом, словно плохо смазанную двустворчатую дверь, раскрыть, войти в него, просунув в рукава руки, и с треском захлопнуть полы. Каково было мне? Но я, представьте, чувствовал себя счастливым, потому что первые же холода засвидетельствовали отменную непробиваемость драпового панциря. Я был счастлив и потому, что уложился в собственный бюджет, который в те времена составлял шестьсот восемьдесят рублей, и потому, что на мне было какое-никакое, а пальто вместо потертой куртки. И это пальто вместе с валенками и шапкой-ушанкой придавало мне устойчивость, солидность и вес.

На фотографии, сохранившейся с тех времен, мы сняты на фоне полуразвалившегося Шамординского собора. Мой новый друг, Сысоев Семен Кузьмич, его жена, Зоя Петровна, и я. Они сидят на обломках собора, а я стою в своем новом несгибаемом пальто, в валенках и шапке, и на лице моем написано благоговение. Я солиден и значителен.

Ну хорошо, моя радость, что же ты будешь делать с этой солидностью в этом не самом совершенном наряде, роняя руки при малейшем прикосновении к драпу, не сгибаясь, едва переставляя деревянные ноги, гудящие под тяжестью ватной брони? А что и должен делать? Мне тепло, непроницаемо, надежно. Конечно, если бы... Но тут не до изысков, и если у нас в городе, то есть у вас в городе, некоторые позволяют себе роскошь не походить одеждой на других и приобретают тряпки с заграничными клеймами, то мне, нам, здесь, мы все здесь заняты делом, и, может быть, это и есть та самая духовность, о которой вы там только разглагольствуете, а мы здесь ее выращиваем и тем способствуем...

Теперь о Семене Кузьмиче.

Это был еще довольно-таки молодой человек среднего роста, с растопыренными ушами, жилистый, с внезапной, непредсказуемой улыбкой на маленьком, с кулачок, скуластом лице. Он был директором небольшой школы механизаторов, обучал трактористов. К нам, учителям средней школы, относился с глубоким почтением, наверное потому, что Зоя Петровна преподавала математику в младших классах нашей школы, да и сам он причислял себя к работникам просвещения и любил говорить: «У нас, значит, в просвещении...» Ну вот, видимо, и моя причастность к просвещению вызывала его симпатию, и я это сразу почувствовал: как человек на тебя смотрит, как с тобой разговаривает — это же всегда чувствуешь. И я к нему потянулся тоже по сердцу ли, по одиночеству ли, но потянулся. Его очень потешала и трогала моя слабая осведомленность в житейских делах. Покровительствовать было для него удовольствием. Когда я проявлял свою непрактичность, попадал впросак, он звонко заливался и с радостью начинал поучать. Он был человеком хозяйственным, сельским, из этих мест. Он во всем любил добротность, основательность в том смысле, как понимал это сам. Рубля лишнего не потратит, а сам то и дело навязывал взять у него в долг... «Да хоть на сколько. Ты, главное, не тушуйся, Булат Шалч. Привыкнешь к деревне. Это вам, городским, сначала трудно, а потом обживешься, коровку заведешь...» «Ну да, коровку! — лукавил я. Вот это да!..» — хотя, признаться по чести, в деревне задерживаться не собирался. Но мне нравилось ему подыгрывать, вот я и лукавил, разыгрывая простачка, этакое городского балбеса, чем разжигал его страсти... «А что ж? — заливался он. — И заведешь коровку, попомни мои слова... А иначе как же?... А откуда молочко, сметанка?... Зой, гляди на чудака!.. А сливки?» «Ну разве что сливки, — говорил я, — сливки эти да... Меня маленького заставляли пить сливки с миндальным пирожным...» Это его почему-то сердило. «С пирожным, с пирожным», — говорил он обиженно...

Мне, одинокому, было у них хорошо. Это был хлебосольный дом, и, когда меня приглашали, появлялась возможность посидеть в сытном тепле, в комнате, почти городской по виду. Происходило это чаще всего так: вваливался ко мне запорошенный снегом Сысоев, с досадой оглядывал мою дымящую печку, тусклую лампочку в потолке и говорил: «Да ладно книжки читать, всех не перечитаешь, — и похохатывал от собственного остроумия. — Айда к нам — чайку попьем». И мы шли по сугробам.

В его доме тотчас появлялась водка, и домашние огурчики со смородиновым листом, и капуста, и помидорчики, и рассыпчатая картошка, и розовое сало, и крутые яички, а иногда и холодец. Мы рассаживались. Сысоев производил все приличествующие моменту движения: потирал руки, передергивал плечами, ухал, ахал, чертыхался, заливался — был счастлив.

Я так до конца и не мог понять, чем я ему мил. Кроме того, что я кончил университет и был учителем, так же как и его жена, о чем я уже говорил, видимо, и мое грузинское происхождение, экзотика, что ли, все это усугубляло, и усики мои, и еще возможное обстоятельство: дело в том, что это был пятидесятый год, а в те времена везде маячили всевозможные изображения моего усатого соплеменника. Не могу сказать, чтобы я был его особенным почитателем, да и родители мои находились в местах отдаленных, но Сысоев перед генералиссимусом благоговел, как все в те годы, и, может быть, как-то там в туманном своем сознании связывал воедино мое происхождение со своим кумиром. Не знаю, насколько точны мои наблюдения, но об этом еще предстоит говорить.

Симпатия его ко мне была легка и сердечна, и я долго мялся, не зная, как посвятить его в то, что составляло боль моей жизни. Я боялся, что едва он узнает, где мои родители, как тотчас в его веселых глазах заплещется, как это бывало с другими, холодное бесстрастное море. Я это хорошо знал, как они отскакивали от меня, словно горошины от стенки, как оглядывали с ужасом и обидой, а если даже сдерживались, то я все равно различал в них едва заметные знаки отчужденности. Разве это скроешь? И вот, когда я признался ему, я увидел, что он не дрогнул, лишь воскликнул с удивлением: «Иди ты!..» и потом:

— Ну и чего?

— Хочу, чтобы ты знал, я не скрываю. Чего мне скрывать?

— Пугаешь, да? — залился он. — Ну напугал!.. Да мы ведь тоже грамотные: сын-то ведь за отца чего?.. Не отвечает?.. Ну вот.

— Я ведь совсем маленький был, когда их... это...

— Да ладно тебе, — засмеялся он, — чудак ты, ей-богу... Был бы ты сам виноват — другое дело... Подумаешь, родители...

И все. И больше об этом не говорил.

И вот мы сидели в самый разгар января, опрокидывая рюмочки и похрустывая огурчиками под аккомпанемент метели. И Сысоев, как обычно, учил меня жить, а я тогда подумал, что, если бы побольше денег, у меня были бы не эти грязно-серые дубовые валенки, похожие на декорации античных колонн, которые мне посчастливилось купить на козельской толкучке, а белые чесанки, легкие, теплые и пружинистые, и не солдатская шапка-ушанка украшала бы мою голову, а мохнатое великолепие из выделанной овчины, а может быть, даже из волка. За деньги все можно... Не надо мне вашей коровки и сливок, а если бы купить пять кубометров сухих березовых дров вместо сырой осины, щедро раздаваемой учителям...

— Да ты, Шалч, погоди, — сказал Сысоев, — вот чудило... Зой, ты глянь-ка... Чудило ты, ей-богу... Да ты накопи, и я подкину...

— Не нужна мне ваша коровка, — сказал я, — что я, пастух, что ли? Я ведь все-таки в университете...

— А у нас-то в просвещении знаешь как? Ага... Приноровиться нужно...

— Легко вам говорить, — сказал я, — у вас во-о-он хозяйство какое: и огурчики, и шуба, и трактор...

— Ух ты, — рассердился он, — ну, Шалч, тебя не переговорить, все тебе не так... Да я тебе трактор дам, ну... Куда ты на нем?..

— Да ладно тебе, Семен, — сказала Зоя, — чего привязался? Вон человек себе пальто из одних отрубей купил, а ты сливки, сливки...

Тут наступила пауза. Потом он сказал, рассмеявшись:

— А чего?.. Мы можем и кожаное пошить, в два счета...

— Ка-ко-е?..

— Эх ты, университет, — всхлипнул он, — какое... А вот такое, слушай, чего я скажу...

Кстати, это мое новое непробиваемое пальто можно поставить посреди комнаты, и оно так и останется стоять, не переломится и не оползет, а будет стоять, словно несгораемый шкаф. А кожаное?..

Что мыслит себе этот деревенский волшебник? Это что, кожа старой свиньи, грубо выделанная, та самая, из которой шили железные сапоги, что так мне в армии и не достались? Какую кожу представляет он себе, разглядывая меня без лукавства, всерьез, даже с грустью?

— Ну-ка, ну-ка, — посмеиваюсь я, — расскажи, Семен Кузьмич что это за кожа? Буйволиная? Свиная?..

— Зачем буйволиная? — обиделся он. — Кожа как кожа, из которой пальто шьют.

— Ну что это? — спросил я. — Старый кабан?

— Ух ты, — и он погрозил пальцем, — Зой, а Зой, ты только глянь на него... Старый кабан, старый кабан...

— А из чего же? — не сдался я. — Из хрома?

— Зачем же из хрома? — сказал он едко. — Из хрома сапожки шьют, а мы и из шевра можем.

— Из шевро? — не поверил я.

— Из шевра, — подтвердил он. Походило на правду. Он сердился. Я решил ему потрафить и слукавил, бог меня простит. Я спросил, тараша наивные глаза:

— Да разве из шевро пальто бывает? Его же мало, ну перчатки там...

Он залился, обрадовался, что вот есть же дурачок, которого приятно и просветить. Мы выпили еще по одной.

— Значит, так, — наставительно сказал он, — из шевра пальто шьют. Я ведь уже для себя самого прицелился, а теперь можем и вместе.

— Да не верю я! — крикнул я, холодея. — Да разве это здесь возможно?

— А вот возможно! — крикнул он с наслаждением. — Возьмем и пошьем!

— Да кожу-то где взять? — крикнул я, догадываясь, что это не треп:

— А ты слушай, слушай! — крикнул он и хитро прищурился. — Аль не веришь?

— Да вы слушайте, Булат Шалвович, — сказала Зоя строго, — уж если Семен Кузьмич чего говорит, значит, так и будет.

— Ага! — залился он.

— И что? У нас будет в руках шевро, и мы пошьем...

— Ну?..

Я разволновался, и мне было приятно морочить ему голову, подогревать его и притворяться идиотом. Я видел, как ему радостно открывать мне неведомое, верховодить, подтрунивать над моим невежеством, опекать...

Я растрогался и сказал, чтобы его посмешить, потешить:

— Между прочим, если мое пальто новое поставить посередине комнаты...

Но он шутки не понял, а сказал с осуждением:

— Зачем же его на пол ставить? Пальто полагается на плечики и в гардероб...

Шуток он не понимал. Как-то я встретил его на улице и сказал по городской привычке: «А вот идет молодой многообещающий директор». Он поглядел на меня мрачно и сказал: «А я вам ничего не обещал». Вот и теперь та же вата.

— Ладно, — махнул я рукой, — а с кожей-то как?

И тут он посвятил меня в поразительный по своей доступности проект. Все складывалось одно к одному: в марте почему-то, оказывается, на деревне режут телят, словно спешат принести их в жертву таким, как я, жаждущим облечься в кожаные покровы. Шкуры, естественно, обдирают и продают по самым доступным ценам. Мы покупаем и везем их в Калугу к знакомому скорняку. Через месяц нам вручают выделанное шевро, и нам остается только найти мастера по пошиву. Максимум через три месяца, а то и раньше на нас — великолепные обновы.

Так фантастично завершилась наша очередная трапеза. Едва все это свалилось на меня, как во мне началась привычная вибрация от нетерпения. Меня залихорадило. Я уже видел в своих руках эти немислимые шкуры. Я даже верил, что могу и сам, не дожидаясь скорняцких милостей, которые то ли они есть, а то ли нет, выделать этот телячий дар с помощью соли и этого... Что там еще нужно? Спирт? Уксус? Выскреблю ножом лишнее, выщиплю в нерабочее время, после уроков, по ночам, до самого рассвета, черт подери! И вот, наконец, мягкое, лоснящееся, переливающееся, ароматное, черное, тускловатое развешу по комнате в преддверьи ножниц и иглы.

В нынешние времена, когда на каждом третьем — кожаное пальто, или пиджак, или брюки, трудно вообразить размеры богатства, которое сваливалось в мои руки. А тогда, только обладая изошренным воображением, можно было попытаться пофантазировать о кожаной одежде, а уж иметь ее — нечего было и мечтать. Мне выпадала удача изредка видеть это на одиноких счастливицах. Я даже до этого дотрагивался. Тонкий аромат, смесь духов и светлого будущего, достигал моего обоняния прежде, чем я *это* видел. Эти таинственные, возбуждающие волны предвещали появление чего-то прекрасного, и, наконец, возникало *оно*. *Оно* напоминало шелк на вид и на ощупь. *Оно* переливалось, было послушным, облегалo тело, придавая ему изысканность и элегантность; *оно* сияло в толпе подобно драгоценному камню среди булыжников и несло на себе печать заграничного благополучия и признаки причастности к особому клану отличных капризной фортуной. Кроме всех этих внешних благородных достоинств, существовал целый ряд достоинств чисто практических, о которых нельзя умолчать. Это было прочно. Смазанное касторовым маслом приобретало большую эластичность и не боялось воды. Грязь с него исчезала мгновенно, стоило прикоснуться влажной ваткой, а если

же *оно* мялось, то вскоре само же восстанавливало былые формы и не нуждалось в утюге. Чего же боле?

Все ждали марта с нетерпением, но никто не ждал так, как я. С приходом же его лихорадка моя достигла предела. Я замучил Сысоева вопросами и сомнениями. Он терпеливо отшучивался.

В один прекрасный мартовский день, уже на исходе месяца, в день, озаренный солнцем, украшенный звоном капели и журчанием ручьев, в дверь моей одинокой отсыревшей кельи сильно постучали. На пороге стоял незнакомый мужичок.

— Шкурки телячьи вы заказывали? — спросил он.

— Ах, ах! — закричал я. — Заказывал! Заказывал!

— Ну, стало быть, получайте. Все шесть.

Шесть! Шесть моих шкурок! Еще не выделанных, но уже моих!..

— Как договаривались, — сказал мужичок, — по семьдесят ры.

Я быстро помножил: шестью семь сорок семь? Или нет? Это шестью шесть тридцать шесть, а шестью семь...

— Четыреста двадцать, — спокойно сказал он, получил свои деньги, сбросил тюк с саней и уехал.

Тюк оказался тяжеленным. Я втащил его в дом и развернул трясущимися руками. Отвратительное зловоние тронутого разложением мяса распространилось по комнате. Шесть сырых скользких шкур лежали передо мной. Моя мечта начала пропитываться зловонием. Однако вовремя явился Сысоев и спросил, празднично улыбаясь:

— Ага, принесли? Ну, видишь, Шалч?.. Я ему, дурню, полчаса втолковывал, где ты живешь. Ну вот, значит, теперь понеслась... Теперь просолить надо, а не то погниют, — и ушел.

Я провозился целый вечер, раздобывая соль, присаливал, присаливал, упаковывал покомпактней, наконец скатал, обмотал какими-то тряпками, веревкой, подержал на весу — страшная тяжесть — и уволок в кладовку. После долго мыл руки и проветривал комнату. Настроение немного сникло, но надежды все еще бушевали во мне. Все это происходило именно так, как я описываю. Нет ли у вас ко мне недоверия? Мне и самому все это кажется придуманным, настолько я выгляжу суетным и малосимпатичным. Я не умел тогда относиться к лишениям с равнодушием и стойкостью. И благородная гордая отрешенность не покрывала моего розовощекого лица. Неужели я и впрямь был так жаден и завистлив, и внешнее убранство играло такую роль в моей жизни? Особенно тяжелы были последние дни перед отправлением к мифическому калужскому скорняку. Теперь я думаю, что несоответствие меж нищенскими обстоятельствами, в которых мы все, и особенно я, находились в том трудном пятидесятом году, и открывшиеся возможности, их головокружительная близость — все это и вызывало во мне позорную на нынешний взгляд лихорадку. Но легко судить себя того из нынешних благополучных времен, поэтому это вздорное занятие оставлю читателю, я сам тороплюсь навстречу Сысоеву, как и договорились, однажды в субботу, после занятий, в самых последних числах марта.

Он подъехал на тракторе, свежий и улыбчивый, а я, тем не менее, всю ночь не сомкнул глаз и теперь был бледен. Но я лихо вынес из своих тайников драгоценный, невероятно тяжелый сверток. Трактор должен был провезти нас километра два с половиной по чудовищной весенней грязи до большой дороги. И он повез. Мы выгрузились в назначенном месте и устроились в ожидании какого-нибудь попутного грузовика, так как никаких других средств передвижения тогда не существовало. Дорога эта была далеко не из главных, поэтому путешественники могли рассчитывать лишь на чудо.

Часа через три налетели ранние сумерки. Дорога была пустынна. Слава богу, в моем непробиваемом было тепло, а Семену Кузьмину в его добротном становилось неуютно. Он пританцовывал, я стоял, прислонившись к столбу, и оба мы молчали. Не знаю, о чем думал он. Я же смаковал в своем воображении уже заученную наизусть картину: вот я привычно и легко облакаюсь в кожаное пальто. На мне кепка из светло-серого материала... Представляете?

Черное кожаное пальто и светло-серая кепка? Ну, еще какое-нибудь непременно кашне... Я медленно иду по московскому тротуару, распространяя тревожащее толпу благовоние. Да, я иду... Вы спросите: и что же? А ничего. Я просто иду.

Наконец, когда сумерки начали густеть, невероятный попутный грузовик, набитый полугнилой картошкой, повез нас к Перемышлю. Мы сидели на картошке, отворотившись от резкого ветра. До районного центра было более тридцати километров по выбитой горбатой дороге, по бывшему Козельскому тракту, по моим нервам и моим костям.

До Перемышля мы доползли часа за два без приключений. Уже в полных сумерках. Там нам повезло: мы сравнительно быстро договорились со следующим грузовиком, идущим прямо до Калуги. Перетащили свои тюки и тронулись. И еще тридцать километров по такой же унылой дороге. Пусть меня простят калужане: для них эта дорога, наверное, прекрасна, даже олицетворение родины. И леса вокруг прекрасны, и поля. Но мне-то что было до всего этого во тьме, на каких-то мешках, в открытом кузове, в тряской машине, под ледяным ветром?

Начало подмораживать. Закаленный крестьянин Сысоев откровенно коченел, а счастливый сибарит в своем непробиваемом пальто благодарил судьбу за удачную покупку. Это у вас там, в городе, что ни говори, а есть возможность в подъезд забежать и погреться возле батареи, а у нас здесь, в открытом кузове, под режущим ветром... Вот вы над нами и смеетесь в своих метро и автобусах и так самоутверждаетесь за наш счет, пока мы здесь коченеем и, не покладая рук, производим молоко, сливки, картошку и прочее, чтоб было чем вам наполнить брюхо...

И вот тогда, когда показались огни Калуги и снова в воздухе повеяло ароматом выделанной кожи, Сысоев прокричал сквозь стянутые холодом губы:

- А моста-то нет! Придется вплавь, Шалч!
- Как это вплавь?! — крикнул я из глубины шубы.
- Значит, сами в воду, — визгливо захохотал он, — а шкуры в руке, чтоб не замочить!
- Так ведь лед по Оке идет! — крикнул я, и жгучий ветер ворвался ко мне под шубу.
- Это хорошо! — крикнул он. — На льдинах и поплывем!

Мы остановились возле того места, откуда в обычное время начинается понтонный мост. Из-за ледохода мост был убран. Во тьме, озаренные неясным светом звезд и городских фонарей с того берега, с шорохом, скрежетом и скрипом мимо нас шли льдины одна за другой. Грузовик развернулся и ушел. Еще несколько печальных теней смутно вырисовывались у кромки воды.

— Не надо было ехать, — сказал я, — куда же мы теперь?

— А теперь, Шалч, ежели не хочешь в воду лезть, — залился Сысоев, — надо лодочку поискать. Может, кто и перевезет.

Было к полночи. Мы продрогли. От голода кружилась голова. Наши злополучные заледеневшие тюки покоились во тьме под ногами. Но я еще был жив, и я бы не обменял драгоценного зловонного груза на тарелку горячего борща и подержанные крылья, которые вернули бы меня в мой дом. Калуга посверкивала на том берегу, и ее мозолистая рука держала меня за горло, и, хоть и потускневший, мерцал еще в сознании образ благополучного молодого человека в черном кожаном пальто и светло-серой кепке, и ради этого я был готов на еще большие подвиги, и даже ледяная Ока не казалась мне непреодолимой. Маленький Сысоев не предавался мрачным раздумьям. Он семенил по зловещему берегу, исчезал во тьме, возникал вновь и наконец окликнул меня из смутной плоскодонки: «Давай тюки, Шалч!» Это восклицание прозвучало, как «Дай руку, брат!». И я, подобно Геркулесу, изловчился, напрягся и оба пудовых тюка дотащил до лодки и рухнул вместе с ними на ее мокрое дно. Пожилой хозяин оттолкнулся веслом, и мы закружились меж льдин во мраке.

— Эй, земляк, — крикнул Сысоев, — а почему нынче потонуть?

— Дорого не возьму, — ответил лодочник, — сиди знай!

Уже на середине реки я обнаружил, что лодка медленно, но верно заполняется водой. Мои валенки погрузились по щиколотки. Я поднял промокший тюк и держал его в руках, словно

большого ледяного младенца. Ничего, думал я, на фронте и не такое бывало. Берег приближался, но вода подымалась быстрее, и темно-синие льдины ударяли в борта. Как умудрялся лодочник проскальзывать меж ними! Теперь я вспоминаю, что мы все трое кричали, пересиливая грохот и скрежет, выкрикивали самые высокие классические образцы матерщины погоде, Оке, каждой надвигающейся льдине и Калуге, не торопящейся нам навстречу, и веслу, и воде в лодке, и шкурам, и этой жизни, и нашим мечтам... И все-таки я еще был тверд, и силуэт мой, элегантный и значительный, все еще маячил на московском тротуаре. Был ли во мне страх? Безумие было. Хотелось победить. О, если бы эта энергия и эти силы направлялись на великие дела! Какое бы количество великих дел возвысило бы человечество! Но в том-то и штука, что не было для меня тогда более великого, чем то, что я выполнял... Да и кто знает, что такое великое, пока оно не совершено?

Но мы успели выскочить из почти захлебнувшейся лодки и ступили на калужскую твердь.

— Эх ты, — сказал Сысоев лодочнику, — мог бы дырочки-то залатать. Ведь потопли бы...

— Некогда, — сказал лодочник, — все ехать желают.

— А ты за деньги и утопить готов, — сказал Сысоев.

— А чего ж, отказываться? — засмеялся лодочник. — Весна-то в году раз бывает...

Мы долго тащились с тюками в гору, выбиваясь из сил. Калуга давно уже спала. И скорняк спал. Ока бушевала далеко внизу. И гостиница называлась «Ока» — старая, мрачная, с облетевшей штукатуркой, но когда мы, наконец, вползли в нее, пуча по-рыбьи глаза, я задохнулся от густого тепла и мирной тишины.

Да, была тишина. И пожилая администраторша за своей конторкой казалась ангелом-спасителем. Над ее золотистой головой кумир Сысоева с погасшей трубкой в руке удивленно взирал на нас из рамки.

Помню, как я протягивал к ней деревянные ладони и не мог вымолвить ни слова, и не слышал, о чем, жалко улыбаясь, говорил ей Сысоев. Может быть, он рассказывал ей свою жизнь, не очень легкую и не самую удачную, о том, как он жил на этом свете, через что прошел, и вот теперь ему не хватило кровати во всем этом великолепном разрушающемся старом здании. И она смотрела мимо него, отрешенно и привычно, с видом человека, привыкшего к тому, что от него теперь зависит и жизнь наша, и смерть.

Что уж он ей там говорил! Но он показывал ей то на меня, то на портрет генералиссимуса, и вдруг она оживилась и даже ответила, что-то человеческое промелькнуло в ее божественных чертах, и наконец нам было позволено устроиться в самом конце коридора на крашеном полу, до рассвета — не позже, и, помню, я был сражен неучливой добросердечностью дежурной, выбравшей нам место возле горячей батареи. Мы расстелили мое замечательное пальто, разулись, засунули валенки за батарею и улеглись рядом, приложив ступни к горячим трубам; и мы покрылись пальто Сысоева и начали стремительно уходить из этого мира... От тюков подымался легкий парок, зловоние просачивалось сквозь упаковку, но мы были уже далеко от этих мест.

Утром нас разбудили брезгливые голоса. Мы молча одевались, посапывая, наслаждаясь теплом просохших валенок, беспрестанно твердя про себя благодарения гостиничной дежурной. В конце концов нас могли и не впустить, а впустив, выдворить, но мы остались, и место возле жаркой батареи словно специально было забронировано для нас и наших тюков с будущим шевро. Видимо, она все-таки сумела распознать в этих полночных бродягах людей, полезных для общества. И вот она сберегла наши жизни, нарушая внутренний распорядок.

Теперь оставалось самое простое: добраться до скорняка. Мы оба, сильные и молодые, вновь подогреваемые своей мечтой, сгибаясь под тюками, не успевшими просохнуть, отправились по известному адресу. Впрочем, адреса не было. Была замечательная память Сысоева, и едва мы прошли по улице Ленина, пересекли улицу Кирова, как эта замечательная память приступила к действию.

— Значит, так, — сказал Сысоев, — теперь у этой церкви направо, — мы свернули, — теперь во-о-он до того голубого забора, подсказала она, — два квартала, и будет колонка для воды... и точно: колонка, покрытая ледяной коркой, возникла перед нами, от нее налево и прямо до магазина, — миновали и магазин, еще не успевший открыться, — теперь, значит, так, от магазина направо, так, во-о-он, до тех деревьев... — шли, задыхались, останавливались передохнуть, пытались шутить, делали вид, что веселимся, что все — трын-трава, вздор: эта ночь, Ока, ледоход, гостиница. По утреннему морозцу явственно пахло уже выделанными шкурками. Еще никто не просыпался: не было ради чего. Лишь мы одни бодрствовали в этом мире, непреклонно приближаясь к своей великой цели. И вот она внезапно открылась за каким-то очередным поворотом, открылась, и мы замерли на мгновение.

— Значит, так, Шалч, — сказал Сысоев, отдуваясь, — теперь, значит, все. Эвот он домик стоит, — и залился, — стоит, чего ему делается? Теперь, Шалч, я схожу поразведать...

И он удалился, а я, прислонившись к дереву, застыл над тюками, и горячий пот стекал по моему высокому лбу. И я подумал о чуде. Что если оно случится: ну, допустим, у этого скорняка залежались уже готовые шкурки, и он просто обменяет их на наши, и нам не надо будет снова ждать...

Минут через десять вышел Сысоев, широко ухмыляясь.

— В самую точку попали, — сказал он, — ждет. Ну, Шалч, будет тебе шевро.

Он сам оттащил тюки в дом вместе с задатком, и мы были свободны.

— В конце апреля получим шкурки, — захохотал Сысоев, вернувшись, — готовы остальные деньги, Шалч.

— Сошьем пальто и поедem в Москву? — спросил я.

— А чего ж? — залился он. — Пусть смотрят...

...Как я дожил до конца апреля, не передать. Я, конечно, боролся с недугом, честно и настойчиво, но безумие (впрочем, безумием это не назовешь), но жажда, охватившая меня, утолялась едва-едва. Моя пересохшая душа, как пересохшее горло, требовала своего, и все усилия усмирить ее, успокоить, утишить, умиловить ни к чему не приводили. Как я выжил, известно самому богу. Почему это происходило со мной? Как ответить? Времена были трудные для большинства. Помню, что я был стоек. Никто меня в детстве не баловал, и направленность души была несколько иной. Почему же мне жаждалось выглядеть с иголки? Не потому ли, что мне... что я... что такие, как я... то есть мы... Не потому ли, что мы... Кем я хотел выглядеть, казаться, быть? Бог свидетель: я презирал пижонов. Чего же я жаждал?.. Мои родители были т а м. И хотя сын за отца... и тому подобное, но горестный отсвет катастрофы лежал и на мне, и мне ли было замирать при одной мысли о возможном превращении в импозантного красавца?

Не понимаю.

Накануне Первого мая (в довершение ко всему) у меня выдалась бурная ночь. Первого мая с утра мы всей школой должны были собраться на праздничный митинг. Вечером накануне я осмотрел свой единственный костюм. Это был старый костюм моего дяди, подаренный мне, когда я вернулся с войны. За годы студенчества он заметно сдал. Теперь брюки внизу порвались и замахрились, и пиджак коробился и блестел на спине и локтях. В отчаянии я намеревался броситься в ножки Зое Петровне, упросить ее, женщину, своими ловкими ручками привести мою единственную одежду в приличествующий празднествам вид, но я спохватился слишком поздно: было за полночь. Наверное, ничего бы особенного не произошло, и мои ученики и коллеги, привычные к не таким лишениям, не предали бы меня позору. Но ведь оглядывали бы с печалью и сочувствием, и, чего доброго, собрались бы в складчину, чтобы поддержать мою репутацию молодого симпатичного учителя грузинского происхождения с городским вкусом, с любовью к прекрасному... И вот я стиснул зубы, напрягся, взял в руки ножницы, иголку с ниткой и принялся за работу. Как я изловчился справиться со старым расплывающимся материалом, не желающим больше жить, — не знаю. Он мучил меня и подставлял мне не те места, к которым следовало бы прикоснуться ножницами, и швы терялись в складках и ускользали, и игла



вонзалась далеко от намеченного места, но к утру я вышел победителем, и когда я отпарил утюгом ветхую ткань, она благородно затускнела, и почти совсем новехонький костюм висел передо мной. Я не спал ни минуты, но удача окрыляла. Много ли нужно? Что еще нужно, если ощущаешь себя человеком? Иди, раскованный и гордый, в свой класс, на свою палубу, на штурм, на гибель...

И вот в самом начале мая, когда празднества уже отшумели, и все зеленело вокруг, и страшный мартовский ледоход выглядел игрушечным, и моя непробиваемая шуба висела на гвозде за ненадобностью, тогда заглянул ко мне Сысоев, с наигранным ужасом, как всегда, оглядел мою комнату и сказал, потирая руки:

— Ну, Шалч, готовься. Завтра, значит, на зорьке и тронемся, помолившись, — и захохотал счастливый, что принес мне долгожданную добрую весть.

Мы снова ехали в Калугу, уже налегке, под майским солнышком, и я видел, что дорога и впрямь хороша, то есть не шоссе, а обрамление, этот классический среднерусский пейзаж, эти вполне былинные леса и долины, покрытые легким туманом. Ехать было радостно, и перспектива ночевки в затхлом гостиничном коридоре уже не удручала, тем более что перспектива в виде выделанной кожи была окрыляющая. Оказывается, думал я, не так это трудно переждать, пересилить нетерпение. От этого огня не умирают, думал я, никнут и горбятся — это да, но не умирают, а с другой стороны, это, может быть, даже укрепляет нервы и душу, и черная кожа облечет уже не хилого и капризного учителяшку с тонкими ножками, а воина, человека, личность... Стоит помучаться, думал я, подпрыгивая в кузове на ухабах.

Мы переехали мост, вновь наведенный после того ужасающего ледохода, и теперь он гордо поскрипывал под грузовиками, и желтая вода уже опавшей Оки дружелюбно терлась о понтоны, и наступающий вечер был ласков и милостив.

— Теперь, — сказал, посмеиваясь, Сысоев, — идем, Шалч, по прежнему маршруту.

И мы бодро зашагали по улице Ленина под зеленеющими деревьями, пересекли улицу Кирова, дошли до церкви, свернули направо...

— Надо бы поскорее, — сказал Сысоев, — скоро стемнеет — ищи тогда...

Впереди показался знакомый голубой забор. От него мы прошли, как и полагалось, два квартала, но... колонки для воды не было.

— Погоди, — сказал Сысоев, — я помню, что два квартала...

— Да мы уже все четыре пробежали, — сказал я, сдерживая начавшуюся лихорадку.

— Але, — сказал Сысоев случайному прохожему, — тут, кажись, колоночка должна быть?

— Колоночка? — задумался прохожий. — Здесь ее сроду не было. Вон на той улице, на параллельной, верно, на углу, а здесь ее не было...

— Да мы не по той улице кварталы отсчитывали, — сказал я.

— Ах ты господи, — изумился Сысоев, — а как же забор голубой?

— Может, и там забор голубой, — сказал я, — пойдем-ка на ту улицу, Семен Кузьмич, если там есть колонка, значит, та самая улица...

Мы побежали. Темнело быстро. Тревоги не было — лихорадило. На параллельной улице обнаружили, наконец, колонку. Оглянулись для верности, но теперь не видно было голубого забора. Пробежали уже по этой улице обратно два квартала, три, четыре... Вот и крашенный забор, но цвет уже не различить. Вроде бы голубой, а может быть и зеленый, и коричневый. Толстая женщина стояла у калитки.

— Здравствуйте, — сказал Сысоев, — какого цвета у вас забор, что-то не разберу.

— А вам зачем? — спросила она.

— Да тут, значит, спор у нас вышел, какого цвета забор...

— Ну, синий, — сказала она.

— А может, голубой? — обрадовался я.

— Зачем же голубой? — рассердилась она. — Синий и синий. Мы отошли немного.

— Знаешь, — сказал Сысоев бодро, — придется нам, Шалч, вернуться опять до улицы Ленина и уж тогда еще раз аккуратненько обратно... А то мы с тобой разлимонились, значит: весна, тепло, вот мы сейчас, вот мы уже, как все просто... А оно и не просто.

Мы вернулись к гостинице «Ока» и медленно двинулись обратно. Улицу Кирова пересекли уже в темноте. Редкие фонари были слабыми помощниками. Дошли до церкви. От нее свернули направо. Пока все было правильно. Наконец возник голубой забор, тот самый, истинный. Даже в темноте отчетливо просматривалась его голубизна. Медленно, крадучись, миновали два квартала, и... колонка стояла на своем месте! Мы ее потрогали, погладили, из крана капала вода. Теперь уже было проще: налево до магазина. Прошли, но магазина не обнаружили. Вместо магазина простиралась аккуратная площадка. Улица была пустынна. Мы стояли, тяжело дыша.

— Надо было хоть адрес записать, — сказал я раздраженно, — полные идиоты.

— Не тушуйсь, Шалч, — сказал Сысоев мрачно, — найдем.

— Может, в справочное обратиться? — спросил я. — Как его фамилия?

— А черт ее знает, — нервно засмеялся Сысоев, — Степан Егорыч, и все...

Вдруг послышались торопливые шаги, и из-за угла вынырнул мужчина.

— Але, — радостно сказал Сысоев, — погоди, дорогой... Увидев нас, мужчина отскочил в сторону.

— Да ты не бойся, — взмолился Сысоев. — Где он, магазин, который здесь стоял?

Мужчина отступил на несколько шагов.

— Але, — сказал Сысоев жалобно, — тебя же спрашивают, ну че-го ты?..

— В справочном спрашивай! — крикнул мужчина и побежал по улице.

— Вот черт, — сказал Сысоев, — заблудились мы, что ли?

— Давай снова попробуем, — без надежды предложил я, — от самой гостиницы.

Но это уже был чистый вздор, и мы, пораскинув, решили отправиться на вокзал и пересидеть там до утра.

На вокзале тускло освещенный ресторан работал круглые сутки. Единственный поезд на Москву отправлялся через час, и веселье было в самом разгаре. Впрочем, веселье — это громко сказано: было шумно, звонко, разухабисто, хмельно. Пахло подгоревшим маслом, прошлогодней капустой. Табачный дым висел над столами... Нет, это вспоминается так, потому что я теперь не люблю вокзальные рестораны, подвыпивших швейцаров и официантов и постоянную суету: от поезда к столу, от стола к поезду. Теперь не люблю. А тогда, видимо, любил. А что было делать? После деревни, сырой холодной комнаты, желтой лампочки под потолком — и вдруг этот зал, и люди, и звонкие подносы, и можно заказать, отменить, развалиться, пошутить, презрительно оглядеть зал, соседей, или, наоборот, сладко улыбнуться. Я плачу — а вы подавайте. Никто обо мне ничего не знает. Все, словно в бане, равны. Были бы деньги. Теперь я не люблю вокзальные рестораны. Теперь уже нет необходимости самоутверждаться, стараться выглядеть и тому подобное. А тогда, хоть и было так же: и вонь, и суета, и подвыпивший швейцар у дверей, но воспринималось, как карнавал... И сквозь раскрытую дверь виден был на стене в клубах табачного дыма привычный портрет генералиссимуса. Он стоял посреди нескончаемой равнины, ранним утром, и смотрел вдаль поверх наших голов.

Швейцар долго не хотел нас впускать, просто так, ни почему, и мы жалко и без обиды толклись у дверей, и горбились, горбились, и елейно ему улыбались, одуревая под тяжестью собственных горбов. Он долго унижал нас, но чем дольше, тем вожделенней поглядывали мы на ресторанные столы, за которыми можно было бы и распрямиться. Наконец он смилостивился. И мы вошли в зал. Это теперь можно, как это называется, качать права и призывать к ответу, тогда же шутки такого рода были опасны: мы ведь хорошо видели, как милиционер с малиновым околышем дружески похлопывал швейцара по плечу, когда проходил мимо, словно они свояки, кумовья, а может быть, даже братья...

Мы заказали графинчик водки и по порции котлет с лапшой.

— Ну, Шалч, — проговорил Сысоев, откинувшись, — кто сказал, что жизнь плохая?

И я кивнул ему согласно, потому что мне и впрямь было хорошо.

Мы выпили, свет стал ярче, я подошел к ресторанной двери не сгибаясь. На мне было кожаное пальто и светло-серая кепка, и швейцар распахнул дверь передо мной. Я похлопал его по плечу...

Я доел котлеты, и мне захотелось ликера с кофе... Теперь я ликеров терпеть не могу, эта сладкая влага мне отвратительна, но тогда мне казалось, что ликер с кофе это так высоко, тонко, аристократично, и подите вы со своими котлетами неизвестно из чего, и с лапшой, от которой склеиваются внутренности!..

И я заказал ликер и кофе. И мне принесли рюмку ликера и чашечку черного пойла, но все же... И Сысоев, хохотнув, придвинул к себе графинчик с водкой. В этот самый момент к нашему столу подошли двое, мужчина и женщина, и уселись на свободные места. Они были крепко навеселе, особенно женщина, но тут же заказали поллитра и по порции кислых щей. Женщина долго всматривалась в меня, потом выговорила с трудом: «усики...» и показала черные зубы.

— Помалкивай, — сказал ей мужчина и объяснил нам: — в Архангельск везу, на лесозаготовки...

— Ее одну? — удивился я.

— Зачем одну, — усмехнулся мужчина, — я их тут много навербовал... вот и везу... А вы кто же будете?

— Мы местные, — сказал Сысоев и кивнул в мою сторону: — А он грузин...

— Грузин? — удивился мужчина.

— Ага, — сказал Сысоев и снова кивнул уже на портрет генералиссимуса.

Женщина спала, положив голову на скатерть. Мужчина выпил и вдруг заплакал.

— Але, — сказал Сысоев, — что это ты?

— Письмо ему написать хочу, — сказал мужчина, — чтоб разобрался во всем...

— В чем же? — спросил я.

— Эх, ты... — снова заплакал мужчина, — да у нас там вредители в начальниках... понятно?

— Пиши, пиши, — сказал Сысоев и кивнул на портрет, — он им даст...

— Конечно, — сказал я.

— Да я не умею, — захныкал мужчина, — как это письмо писать? С чего начинать?.. Не умею... А то еще не так чего-нибудь...

— Давайте я напишу, — вызвался я, — вы мне факты, фактики, а уж я сделаю...

— Он сделает, — сказал Сысоев, — он грузин, он университет закончил...

Как там все это в точности происходило, сейчас уже не помню. Он бормотал что-то, я записывал. «Зачем это мне нужно?» — думал я, а сам записывал, записывал, пока кто-то не произнес над моей головой:

— Ваши документы, гражданин...

Милиционер в малиновой фуражке тянул ко мне ладонь. Женщина спала. Мужчина смотрел дикими глазами. Сысоев зарумянился и сказал тоненько:

— Ой, мне в туалет надобно, я сейчас...

Я выложил на широкую милицейскую ладонь все, что у меня было. Он подхватил и мой блокнот и велел мне следовать за ним.

— Не трожь... — прохрипел мужчина, — не трожь, говорю... И меня повели.

В дежурной комнате сидел капитан с желтым помятым лицом. Милиционер разложил перед ним мои бумаги и сказал:

— Вот, товарищ капитан, гражданин сидел с пьяным и чего-то у него выпрашивал и записывал... Сам не ел, не пил...

— Ну что? — спросил капитан.

— Как это не ел, не пил, — сказал я, слабея, — я съел котлеты с лапшой и ликер выпил...

— А что записывал? — спросил капитан.

— Видите ли... — сказал я.

— Давай его туда, — сказал капитан и кивнул на боковую дверь.

Я зашел в маленькую грязную комнату с лавкой, и дверь захлопнулась, и щелкнул замок.

Шесть квадратных метров. Тусклая лампочка над входом. На окне решетка, за решеткою майская ночь. За дверью — чужой, равнодушный офицер... Несколько минут назад мне хотелось выглядеть человеком. Разве это несправедливо? Да зачем, зачем мне понадобилась эта дурацкая кожа! Я обманывал сам себя, думал я, играя в эту игру с деревенским совратителем, не верил и играл, и вот доигрался... Теперь, когда выяснят, что мои родители... потом усмехнутся понимающе и недобро... Я, конечно, отвечу словами того человека, который везде: в мыслях, в воздухе, в разговорах, в позолоченных рамках — я, конечно, повторю как магическое заклинание сказанное им однажды, что, мол, сын за отца не отвечает... да, но ведь и яблоко от яблоньки... и это тоже надо учитывать, ибо это тоже народная мудрость, а народ не ошибается... Теперь, в наши времена, какой-нибудь молодой человек в подобной ситуации спросил бы с легкой усмешкой ничего не боящегося члена общества: «А почему, собственно, я не могу записывать, что желаю?..» Что ответил бы ему усталый капитан? Действительно, ну достал блокнот, ну записывал. Что дальше?.. Но это теперь... А тогда... Куцый пиджачок и чертовы усики, и рюмка ликера, и пьяный бред о каких-то вредителях, и все это под большим портретом, в то самое время, когда, как мы знали, сотни и тысячи закамуфлированных злодеев шныряли среди нас, записывая, выпытывая, взрывая... Помню, как на лекции о коварстве иностранных разведок лектор сказал: «Западный агент, к примеру, в ресторане выпивает по глоточку и не закусывает. Это бросается в глаза...»

Если бы я сидел в своей деревне, не поддавшись на провокации Сысоева, ничего этого не было бы: ни лихорадки, ни вожделения, ни мучительной дороги в кузове грузовика, ни плавания среди льдин, ни унижения в гостинице, ни этого чудовищного ликера и пьяных рож, ни зарешеченных окон и перспективы насильственного путешествия куда-нибудь подальше, надолго, навсегда... «Где ваши родители?» «Видите ли...» И все. Потому что жалким словам было не в силах перебороть существовавший стереотип. Зачем мне понадобилось это проклятое пальто?..

Наступал рассвет. Кажется, я плакал. Тихо, для самого себя. Я еще надеялся, что произойдет чудо: усталый капитан забудет обо всем, выслушает меня без интереса, махнет рукой, и я ринусь на улицу, сбегу к Оке, на первом же попавшемся грузовике укачу в деревню, домой, сварю суп из молодой крапивы и пшена, засну и проснусь в другом мире.

В этот момент там, в предбаннике, что-то загрохотало, треснуло и хриплый голос проорал: «Не трожь, тебе говорят!..» Кого-то там втаскивали, втискивали в двери, а он упирался и орал: «Сталин где?!.. Куда Сталина подевали, суки!!»... Это был тот, архангельский вербовщик, допившийся до горячки. Он искал меня и топил меня окончательно, перемешав в своем помутненном сознании мои тщедушные усики с теми холеными и всемирными, и он топил меня, топил, приговаривал к дальней дороге, пьяная сволочь... «Сталина подавай!..»

Заткнись, сволочь! — крикнул я сквозь слезы, но никто не мог меня услышать, и на чудо уже нечего было рассчитывать. В предбаннике проволокли по полу тяжелое тело, щелкнула задвижка, и все смолкло.

За окном быстро светало. Вскоре и вовсе наступило майское утро, зазвучали шаги счастливых прохожих... Если бы не это шевро!.. Затем отворилась со скрипом дверь, и меня пригласили в предбанник к дежурному. Я стремительно шагнул вместе с клокочущим в горле криком: «Товарищ капитан, я умоляю вас... это все недоразумение!.. Честное слово, я не виноват!.. Это он виноват, этот пьяный негодяй, болтун... Спросите у наших... Я хотел сшить кожаное пальто... я, как дурак, пережил до утра... я думал... Это Сысоев меня надоумил, а сам убежал. Честное слово, честное слово, я умоляю вас!..»

За барьером сидел молодой незнакомый лейтенант. Он повертел мои бумаги и спросил бесстрастно:

— Прospались?

— Я не спал, — сказал я, просительно улыбаясь.

— Лавка жесткая? — брезгливо усмехнулся он. Через окно виднелся перрон. Там стояли пассажиры. Цветы распускались на газоне. На вывеске было написано: «Хлеб»...

— Я всю ночь думал, что неправильно поступил, — сказал я. Он протянул мне мои бумаги!

— А теперь? — спросил я, не веря.

— Пить надо меньше, — сказал он, — идите.

...От вокзала до понтонного моста я добежал за какие-нибудь десять минут, ни разу не оглянувшись. На берегу Оки на свежем бревне сидел Сысоев. Я присел рядом, тяжело отдуваясь. Мы молчали. Он рисовал на песке веточкой домик. Доканчивал, стирал и вновь начинал, но уже с большим совершенством. Я стал рисовать тоже.

Так текло время. Попутных машин не было. Желающих ехать прибавлялось.

— Ты что, Семен Кузьмич, испугался? — спросил я, не поворачиваясь к нему.

— Зачем испугался? — сказал он сквозь зубы. — Вовсе и нет... Вот машину жду. Мы снова помолчали.

— А чего вам там говорили? — вдруг спросил он, стирая очередной дом.

— Ничего, — сказал я, — вернули бумаги и все...

— Ух ты, и все, — засмеялся он, — фамилию-то, небось, записали?

— Ну и что? — спросил я шепотом.

— А ничего, — сказал он, — теперь узнаете...

— Да ведь там дежурный сменился, — заспешил я, — лейтенантик какой-то, он и не спрашивал ни о чем. Идите и идите, я и пошел... Я сначала испугался, знаешь, как подумал, что вот о родителях спросят, то да се, ну, думаю, конец...

— Это почему же конец? — спросил он, презирая меня. — Что ж, у нас разобраться не могут? Больно вы рассуетились, словно виноваты...

— А что это ты на «вы» со мной? Мы ведь не один день знакомы, — удивился я.

— Да уж и не больно-то мы и знакомы, — сказал он, оглядывая дорогу, — я вас и не знаю-то толком...

Я не успел ответить, как подкатил грузовик — спасительный экипаж, который увезет меня от этих мест подальше будто бы в недостижимые пространства. Все забрались в кузов, и я уселся на какой-то мешок, и лишь один Сысоев продолжал дорисовывать дом...

— Давай скорее! — крикнул я без надежды.

— Вы едете и езжайте, — сказал он, не поднимая головы, — а у нас и в Калуге дел по горло.

И я уехал.

Наша дружба с Семеном Кузьмичом оборвалась. Он меня в гости не приглашал, да и я не навязывался. О коже он не вспоминал. Я не спрашивал. Потом мне удалось выяснить у одного знающего человека, что все равно хранили мы шкурки неправильно, и за такой срок без обработки они должны были сгнить непременно. Это известие меня окончательно утешило. О деньгах я не пожалел. А может быть, окажись я тогда на вокзале в черном кожаном пальто, — неизвестно, где бы я сейчас находился. А тут корявый пиджачок, какие были на всех, стоптанные башмаки... Чего с меня взять? Верно ведь?..

*Октябрь, 1985*

*У меня, в общем, счастливая литературная судьба. Она сложилась из многочисленных трудностей, препятствий, конфликтов — это ли не счастье? Судьба меня закалила, многому научила и в то же время не лишила способностей выразить себя теми средствами, которыми меня наделила природа. Хорошо или плохо я ими распорядился — не мне судить. Во всяком случае, я очень старался. Если бы я умел обольщаться на свой счет, я бы считал, что мне предстоит теперь написать самую значительную свою вещь. Но, к счастью, я научился не обольщаться...*

*Булат Окуджава*